



Вячеслав Шаповалов КАРТА МИРА Четыре баллады разных лет

Шаповалов Вячеслав Иванович – поэт, переводчик тюркской и европейской поэзии, литературовед, этнополитолог. Народный поэт Киргизии, лауреат Государственной премии КР и Русской премии, заслуженный деятель культуры КР, профессор, доктор филологии. Автор 12 книг стихотворений. Публикации в журналах «Арион», «Дружба народов», «Знамя», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Литературный Киргизстан», «Literrатура», «Новая Юность», «Новый берег», «Prosodia», «ШО», «Эмигрантская лира» и др. Постоянный автор ДН.

Бог есть Язык

*М.Л. Гаспарову,
in memoriam*

*«Мир есть Текст!»
Бог*

1.

Он умер, как сам и предвидел: удел мудреца,
так скажут сироты-филологи. Это, однако,

неправда. Но что это всё же, судьба иль отвага? –
от смерти, от жизни, от ветра не прятать лица,
предвидеть финал этой подлой прекрасной игры
и, с прежней улыбкой являя свою крутолобость,
сквозь муть опечаток искать лишь единственный логос!
А, впрочем, и эта стезя – до поры, до поры...

2.

...Как в юности рвёмся в тот фокус, из коего нет
возврата – в его, с кривизной иль сеченьем пространства,
анналы, о нас повествующие беспристрастно,
в сады, катакомбы и прерии дней или лет,
воссозданные паранойей из тех, что до нас
уже не дошли, бесконечных, бескрайних вселенных,
но до расширения совсем беззащитных, мгновенных,
нечитанных текстов, эскизов невыросших рас...

Язык.

Минотавр виртуальной подкормки!

Язык,

пустая вселенная, без середины и края,
колода реальностей, до воплощенья – немая,
цепочка значков, узелков, ненаписанных книг,
неистовый форум, метафор стоголавый дракон,
алголов глаголица и лицедей лексиконов,
двусмысленных истин творец, сопрягатель законов,
и сам в этом смысле обретший себя как закон:

о, вспомните, дьяволу взнос за бессмертье – душа,
но есть у души и вторая цена роковая –

за знанье речений земли душу злу отдавая,
за дудочкой шли мы, тропой любомудров спеша.

Гигантская бездна, где всё поместиться смогло –
история вечности и сотворение твари,

свеченье фаворское, мгла одуренья в угаре,
и числа, и смыслы, и благо, и прочее зло:

вглядеться в тебя, отшатнуться –

но поздно,

и Ты

воззрился в ответ в протоплазму, что мучит фонемы,

за шаг до сознанья, что все мы – конечно же, все мы! –

Твои порожденья с тех пор, как отпали хвосты,

мы, блудное чудо, но Божье творенье при том –

и тешимся вечно, от гордости тварной зверея,

то речью ручья и вполне тростниковой свирелью,

ухмылкой сатира, то вдруг бессловесным огнем!

3.

А Ты чего ждёшь, предлагающий сделку всем тем,
чья души во мгле Языка не приемлют покоя,
что с нами, Отец, сотворил Ты однажды такое:
всяк, мучимый словом, вовеки не понят и нем.
Откуда, откуда печаль эта, привкус беды:
в мгновенья, когда мы пронизаны блещущим миром,
от жажды легко умираем над плотью воды –
за что же нам это даровано, глупым и сирым?
Вначале («в Начале»!) вещает пророчеств дневник –
лишь Слово, баллон с кислородом для нищего духа,
а позже всё сущее в мире для зренья и слуха –
слова, вдруг обретшие силу? – нет, дело не в них.
Часть Речи, что каждый как Божию силу обрел, –
праматери-матрицы разум, дарован игрою,
в руках геростратов отравленный нефтью сырою,
не имя, не имя, не имя – но некий глагол! –
на сердце пометка, рулетка всех наших надежд,
плевок озаренья, что змием приткнулся на древе,
геном преступления, до времени спящий во чреве,
дитяти в зелёном побеге крылатый мятеж!..
Как истинный (кто сомневается здесь?) демиург,
Ты ярок и щедр – и всегда откровенно стервозен
и мелочен. В целом же, над микроскопом, Ты грозен
и неотвратимо системен, ведь мы – дело рук...
Ты счастлив: адептов своих наказал немотой,
коротким дыханьем и горьким похмельем – поэтов,
за то, что тревожат вопросы, где нету ответов,
за эту подглядку в Твой внутренний тягостный строй.
Понятно, что жизнь наша так нам порой дорога –
ведь тварей своих Ты повадкам учил монетарным:
несчастливым слепцам подарил лабиринт с минотавром,
и сверху глядишь – сколь милы тараканьи бега!

4.

...Филолог он был и творец, чернокнижник и раб,
свободен, бездомен, он – помнишь? – стоял у порога,
толмач безъязычья, таинственно чующий Бога,
тангейзер, не чтущий итога. Как худ был, как слаб!
Аскет и мудрец, он себя посвятил до конца
Тебе – в человечесьей купели и в доме из камня,
Тобою с рожденья наказан – тоской заиканья,

громადой безмолвья – и мыслью, восшедшей в сердца.
Эпоха прошла. И другие за ней. Потому,
от яств отвратясь и постигнув игру человечью,
он голос обрёл и к Тебе повернулся навстречу –
узрел пустоту, но о том не шепнул никому.

...Я мальчиком Слово услышал, когда он разъял
и вновь возродил беззащитный и радостный атом.
В году это было, припомню, 69-м,
о странствиях вечных, о строфах цепных он сказал.
Что ж, жизнь опустела. Пришел понимания миг.
Вот призрачный храм Твой, сиречь Вавилонская башня,
я Слово услышал, теперь помереть мне не страшно –
что «Бог есть любовь» не уверовал:

Бог есть Язык!

Карта мира

Кто летает во сне, а кто мочится ночью в постели,
все-то мы одержимы одною нелеченной дурью.
Дай нам, Боже, несчастным, чего безнадежно хотели –
надели парусами, не жмись, одари нас лазурью!

Спам отжатых мечтаний. Закаты трусливых восходов.
Кривоногому чурке – мечта о небесной касторке
финикийских ветров. Обезьяний синдбад мореходов.
И галеры, галеры – и толпы, до самой галёрки.

Извращайся же, глобус! Сражайся, божественный логос!
Попрощайся со мной, моё имя, словами простыми.
Разлохмаченной розы ветров криволапая лопасть –
способ кануть в нирвану, где только моря и пустыни.

Мним под крышей чужой, на сосновой присев табуретке,
ощутить кривизну небосклона эйнштейновым задом,
звёздный холод постичь в бормотании гипербореи,
маяки атлантид осязать затуманенным взглядом.

Окровавит наш парус над бездной варяжского моря,
разгораясь, заря на холмах молодого эфеса:
прочь от римской лозы, от имперского счастья и горя,
ты скользни, моя тень, под вокабулы кельтского леса,

огляди, озираясь, предел этих генуй, венеций
и (по списку) иных ненасытно-прекрасных провинций,
где лишь храмы да тюрьмы – и в каждой на нарах бозций,
ну а кто не в тюрьме, тот политик и рвётся в провидцы.

Карта мира, цыганская сказка, чужие пробелы
и чужие проблемы, и чьи-то чужие контракты,
не узнать, для чего корабелы творят каравеллы –
и сирены гадают бродягам фальшивым контральто.

Берег! К шпорам пришельца прильнёт и примолкнет планета,
под железной перчаткой, как юное женское тело,
вздрагнет в смертной печали бессмертная плоть континента –
меднокожая музыка, нищая даль без предела,

о нетоптанных травах мечта, неубитых бизонах,
бесполезна, как скальп ирокеза, всесильна, как сорос:
твой озоновый край мазохистов и амазонок,
твой затерянный рай, пряных прерий майнридовый соус,

золотая аляска, в снегах иссечённые годы
да о русской тоске омерзительные анекдоты...
Ах, куда и зачем в звёздном плеске ведут мореходы
эти бриги, фрегаты и прочие, блин, пакетботы!

Коль обманут пространства, постранствуем по эпохам:
тот же хрен, только в левой руке, как иные считают.
Те, кто порох придумали, сделали это со вздохом.
Те же лживые бури суденышки наши качают.

Книга мёртвых, чужих пирамид треугольные знаки:
боги-псы, крокоидолы, терпкая горечь инцеста! –
как светло нам в ослепших могилах, в рассыпчатом мраке –
стронций, черная плоть, измельчённых созвездий авеста.

Хлеба корку сухую из старой сумы я достану
на холме, где когда-нибудь виллу отстроит патриций,
где постигнул адам скотоложества вещую тайну
и межвидовый пафос – и сгинул из рая с ослицей.

Глянь в глазницы червя, баальбек с пересохшей аортой,
чью нездешнюю бездну вселенная не сохранила.
Загадай мне загадку, зверюга с побитою мордой,
скорбный сфинкс, старый сфинктер на заднице желтого нила.

Трон захватит дебил. Рядом, в пляске на вымершем вече
вдруг потребует в блудном поту озверевшая сука
на тарелке с приправами мозг иоанна предтечи...
Всё по-прежнему, Боже, всё то же: мерзавцы – и скука.

Продолжай же вращенье, земля, посреди мирозданья! –
как же быть, коль не плыть по векам,
по мгновеньям ничтожным,
равнодушные сплетни и летописи порождая,
по чудесным маршрутам, к далёким мирам невозможным.

Глупый индикоплов, никотиновой плоти создание! –
одурев от сомнений, моли о единственной пуле,
чтоб покинула ствол и любовно проникла в сознание,
и пропела тебе позабытое: ultima thule...

И однажды рассеется очарование тумана,
и устанет надежда нам корчить пиратские рожи,
а небритые твари – тарашиться с телеэкрана,
и откроется суша. И правда откроется тоже.

Воздух горних широт и нездешних сердец логарифмы,
безупречный герой, чей сюжет для ремонта отозван,
карты звёздного неба, подземных даров лабиринты –
это только свеча, что трепещет во сне коматозном.

Смыслов строй предложил нам Творец –
не толпу междометий,
только Слова – не слышим, лишь алчно мечтаем о чуде.
Время бродит в пространстве, шурша черепами столетий,
среди несчётных миров.
Боже бедный, какое безлюдье!..

*Авек плезир!..**

Баллада русского возрождения

Ты пришел с царем Петром, ты вошел в наш тихий дом,
Я в твои глаза, как в омут, заглянула –
В них навеки корабли в море синее ушли,
Только нежностью и ужасом дохнуло.

* «Avec plaisir!» (франц.) – «С радостью!».

Ты вошел в наш тихий дом – и с тех пор навек ты в нем,
Но ни дома я, ни имени не помню,
Только, в счастье и в слезах, несказанный свет в глазах
И обет, что, дав единожды, исполню.

Ты сказал: авек plezier! – и меня навек пленил
Шпагой, голосом, пшеничными усами,
Впереди качалась мгла – но, закрыв глаза, пошла
За тобою я, прельстившись голосами.

Еще помню: ночь-полночь, что-то мне уснуть невмочь,
А на псарне в рёв заходятся собаки,
Входит, черен, мой отец: – Ты готова ль под венец? –
И глаза его – как две свечи во мраке.

Сам царь-батюшка венчал – и уж как нас привечал,
Ну а мы с тобой доверчиво сомлели,
Да и как тут не сомлеть, если нам клялись гореть
Свечи шальные на каждой ассамблее!

Голова царя Петра тяжела была с утра,
Но легка была российская корона,
И все чуяли нутром: с императором Петром
Супостата одолеем без урона!

Но рука царя Петра – сноровиста и хитра.
Его милости лишился отчего ты? –
Ягужинский-прокурор усмехнулся: – Вот он, вор!
А послать его в уральские заводы!

У меня не стало сил, когда люд заголосил:
С дыбы сдернули, в железо заковали.
Помню, в мертвой тишине шевельнулся сын во мне.
Больше мы с тобой друг друга не видали.

Доползла я до царя, но молила, видно, зря:
Глянул сумрачно, скривился, отвернулся.
И тогда в недобрый час твой сынок в последний раз
В моем чреве безнадежно содрогнулся.

И пошла я за тобой – но куда, любимый мой?! –
Обеспамятела, имя позабыла,
Мать, отца, наш дом и двор, нянек, братьев и сестер
Мне заменит безымянная могила.

Всяк пред Богом сир и наг, сказывал один монах.
Старец этот рек: – Не плачь, жено, не надо!
Суженого не ищи – сгинул в огненной печи,
Но пребудет посрамленье силам ада.

Так и царь наш на заре с Божьей помощью помре,
Убиенного, зная, вспомнил Алексея,
На предчувствие мое налетело воронье,
Над моею головой заголосило.

Славянин, хазарин, галл – каждому Господь воздал,
Но полна она антихристовой кровью,
Эта страшная страна – эта вечная война,
С ее ненавистью, страхом и любовью.

Горю минуло семь лет, я состарилась, мой свет,
И с ума сошла от горя и утраты,
Шла я с нищенской сумой за тобой, любимый мой,
Но не встретила и самой малой правды.

Что ж, Господь тебя храни, гаснут дальние огни,
Очи выплакала – и пусты глазницы,
Канул разум мой во тьму, в ту безглазую тюрьму,
Где надежда не окликнет, не приснится.

Ты просил меня: живи! – но ты зря хрипел в крови,
Без тебя жить я обета не давала,
За младенцем нашим вслед мне покинуть этот свет
Богоматерь, зная, незримо помогала.

Ты прости меня, мой друг, что не вынесла я мук
И сойду теперь под землю за тобою,
Что сдержаться не смогла, что дитя не сберегла.
Видно, я удела лучшего не стою.

Но и в свой последний час помню только лишь о нас –
Нет ни матушки, ни батюшки, ни Бога,
Когда юность мне пронзил возглас твой: авек плезир! –
И последняя привиделась дорога...

Хохлацкая баллада

Вот гарцует на пригорке – девки, закрывайте шторы! –

дядя – Митька-егоза:
с детства доставалось порки, но усы всегда в махорке,
в серой ярости глаза!
Был он прасолом и волком, жизни вкус изведаль с толком,
и не покидал седла,
пялились донцы-соседи: уродится ж чёрт на свете! –
на горячего хохла.

В прошлой жизни бесталанной был у деда конь буланый –
царский поезд обгонял:
дед нашёл себе шараду – двинул покорять Канаду,
сотнику коня загнал.
Переполошил округу сын-малец – украл зверюгу,
в гриву утыкая нос,
жеребца в степи запрятал, но – нашли, и он заплакал.
Так мой милый дядька рос...

Только вспомню слёз и смеха нескончаемое эхо –
всё, что рассказал отец –
ненависти или мести рад я больше, чем невесте,
хоть всему пришёл конец.
Под звездою скорпиона, поумерь-ка скорбь, Иона,
тормозни своо кита:
то ли ноет ретивое, то ли воет рулевое,
то ли силушка не та.

Голь, кацапы, тавричане, греки, персы, молокане –
накипь русского котла,
пахнет язвой моровою да войною мировою,
бьют сплеча и жгут дотла.
То сангвиник, то холерик, дядька не искал америк,
он другой рванул стоп-кран:
золотые вшил десятки в шубы старые заплатки,
молча канул в Туркестан.

Но до этого – собаки! – ранен был в нечестной драке,
отлежался на печи,
зиму бабушка лечила, от болезни отлучила,
но от мести – отучи!..
О, змеиная улыбка, шаповаловская сшибка:
сдохни, но сочтись во всём! –
кровью легкие заполнил, но дружка того запомнил
и всех прочих, кто при нём...

Наступило время свадеб – улицею меж усадеб

прёт обидчик, пьян слегка.
Дядька мой в бекеше длинной у ворот стоит с дубиной,
взором нежит облака.
Вот шеренга женихова, вот невестина обнова –
под веселую гармонь
тяжко хрустнула дубина, замертво упал вражина,
дядька же – побрёл домой.

Раз кого, уж вы поверьте, он убил (пусть не до смерти –
но потом не жизнь была),
дядьке каторга светила, но маленько подфартило:
революция пришла.
Кровью мытые закаты, краснозадые мандаты,
тиф, колхозы, голод, мрак...
Вспомнить – и опохмелиться, хоть он и поныне длится,
отчей пажити бардак.

И бегут от половодья – всё кулацкие отродья,
дед мой, родичей толпа:
от Медведицы и Дона, от поруганного дома,
век не кончится тропа –
за горами, за долами, за калмыцкими степями,
за печальной Сыр-Дарьёй,
где страшны и мохногруды прокажённые верблюды,
а душа полна зарёй...

Я там жил – какое диво, по усам текли мёд-пиво:
чашу там до дна испил.
Там отцу божился: «Тату! Буду с краю ставить хату!»
Но поклялся – и забыл...
Так и дядька, хоть не ссыльный, жизнь свою рукою сильной
повернул – не ожидал,
с той поры, как бил дубиной, больше родины любимой
он до смерти не видал.

Прожил век, поторопился, и с родными не простился,
сжал обиду в кулаке –
отошёл в степи казахской, то ли гуннской, то ли сакской,
в собственном особняке.
Кончились его химеры: мне в глаза, на гребне эры
все, на фото вставши в ряд,
и укору, и примеры – пламенные офицеры,
братья старшие глядят...

В топоры я не рубился – но у дядьки научился

не чураться всех голгоф,
как последняя паскуда. И – не умирать, покуда
всех не отплатил долгов!
Смертный миг и запах гари – всё вернул бы каждой твари:
видно, не дано простить.
Что ж, коли сложилось плохо, и твой враг – сама эпоха,
надо жить. И этим – мстить.